

ГЕОРГ ГЕЙМ

*Перевод с немецкого Михаила Гаспарова **

Недавно исполнилось сто лет со дня рождения одного из крупнейших поэтов Германии двадцатого века Георга Гейма.

Он родился в 1887 году и прожил недолго: двадцати четырех лет, катаясь на коньках, он утонул под провалившимся льдом. 1912 год, год гибели Гейма, это еще мирное время. Но его стихи, его опыты в драматургии и прозе создавались будто в предчувствии надвигавшихся на Европу потрясений — «некалендарного двадцатого века».

С фотографии на нас смотрит круглое, мальчишеское лицо, напоминающее известный портрет другого трагического гения Германии — молодого Клейста: те же округлость и доверчивость, то же жуткое несоответствие портрета творчеству и рано оборвавшейся жизни. Как в прошлом веке драматургия и проза Клейста, так в нашем поэзия Гейма выразили глубокое неблагополучие времени и жестокость мироустройства.

В истории литературы Гейм значится предтечей экспрессионизма. Но это лишь часть истины. Вместе с другими замечательными поэтами своего поколения он открыл за немногие годы творчества новое понимание времени, новый мир образов, новый язык, важные для всей немецкой поэзии.

Предшествовавшие десятилетия в культуре Европы получили наименование «*belle époque*». Связи с реальностью были ослаблены. Время отражалось косвенно — в усталости, тронутой увяданием красоте, томительно-сладостном предчувствии конца. В поэзии Гейма заметен отблеск этой культуры, но куда заметней разрывы. «На гребне *belle époque*, когда все казалось в совершенном порядке, сумасшедшие, убийцы и бунтари Гейма были созданием человека, сохранившего разум», — писал о его стихах спустя полвека Стефан Хермлин. В этих стихах и в самом деле много сумасшедших, бунтарей, а кроме того, калек, нищих. Но автор далек — это сразу ясно при чтении — от сентиментального сочувствия «бедным людям». Гейм видел все обобщенней, крупней, видел не только страдания человека, но и искалеченный род человеческий.

* ГЕОРГ ГЕЙМ — Стихи (*Перевод с немецкого Михаила Гаспарова. Вступление Н. Павловой*) // *Иностранная литература*, 1989, № 2, 178–192.

Некоммерческое электронное издание. «Im Werden Verlag», 2007.
<http://www.imwerden.de>

За долгие годы у нас стало дурной традицией принимать за бессилие трагическое восприятие жизни. Там, где следовало ценить бесстрашие, видели пессимизм и слепоту. Между тем поэзия Гейма, как и творчество многих других выдающихся лириков того времени, обладала исключительной силой исторического предвидения. Это сказалось не только в стихах, рисовавших не начавшуюся еще войну (такие пророческие стихи есть не только у Гейма), но и в совершенно новом восприятии жизни, новой ее оценке. Мир увиден здесь «как будто не теми глазами, не глазами людей, привыкших отворачиваться от безобразного и отводить мертвым пространство за решеткой на кладбище. Гейму претило слабодушное забвение ужаса и смерти — он видел смерть там, где она ежедневно совершает свою работу, среди жизни.

«Мертвецкий дом» — названо одно из его стихотворений. Это и дом его поэзии: мертвые населяют ее гуще живых. Можно по-разному отнестись ко всем этим скопищам мертвецов, которые переполняют у него, наседая в неистовстве друг на друга, реку Стикс, уподобляются тянувшимся по небу облакам или — целый народ! — лежат на столах в морге. Можно неприязненно отвернуться, а можно, почувствовав силу этой поэзии, задуматься над стихами. Дело не только в художественном вкусе читателей, хотя это конечно, первостепенно — дело еще и в выборе, который делает для себя каждый: знать или не хотеть знать; понимать, замечать, видеть или закрывать глаза на происходящее. Ведь в одном нельзя заподозрить Гейма — в обмане, в произволе мрачного воображения. Всего через несколько лет после последнего его стихотворения миллионы мертвецов — а потом еще! и еще! — пали в землю Европы.

Привычные разделения безобразного и прекрасного, живого и мертвого, человеческого и природного у Гейма забыты и отменены. С каким-то немыслимым состраданием отталкивающее уравнено у него с прекрасным (так в стихотворении «Спящий в лесу»). Щемящая жалость не высказана, а выражена в самом построении этих стихов: красота не отворачивается от тлена. В одном и целом соединены противоположные, противоречащие друг другу начала: свет и тьма (он пишет однажды о «черном пламени»), движение и статика («неподвижный поток»). Крепко спаянные слова взрываются внутренней несовместимостью. Развития и динамики почти нет (обычно они замещены все новыми и новыми точками, с которых увиден предмет, и новыми пространствами, открывающимися читателю). Но развитие тут заложено — все существует в предчувствии взрыва.

Отсюда напряженность этой поэзии, ее кричащая образность, особенно яркая уже в переведившихся на русский язык и потому не включенных в подборку стихах Гейма о городах (одно из них было переведено Пастернаком).

Образы у Гейма картины, предметны (солнце у него «как бочонок», «как желтый тюрбан»). Кажется, что он мог быть художником, как молодой Маяковский. Но окраска своя, геймовская, гораздо более мрачная (лишь изредка у него в ходу другая палитра — и все тогда, как в детской сказке, пурпур, голубизна и золото). Метафоры, разрастаясь, создают уже не образное отражение действительности, а новую предметную реальность, не похожую на первую, но выраженную ее суть. В таких стихах, как «*Umbra vitae*» или «Слепые женщины», говорится, в сущности, о состоянии мира, и «корабли, повисшие в волнах» — знак оборванной жизни, прекратившегося движения.

Среди его стихов есть высокие образцы любовной лирики, вошедшие во все представительные антологии немецкой поэзии. Но и в стихотворении «Длинные твои ресницы...» внимательный читатель заметит не выведенные на поверхность мотивы, относящиеся к чему-то более широкому, чем любовная тема стихотворения. В каждом четверостишии тут сталкиваются и спорят высъ и глубъ, тень и свет. Материя жизни разведена на полюса.

Поэзия Гейма, не знавшая больших форм, и в малых отличалась эпической монументальностью. Он писал о больших городах, павших на колени. Написал, как людские толпы: (читай: человечество) неподвижно стоят на улицах и с ужасом смотрят в небо (появившаяся в те годы комета Галлея для Гейма в стихотворении «*Umbra vitae*» только предлог и повод). Порой он видит землю с немыслимой высоты, со сгрудившимися в города домами, пересеченную реками, по одной из которых плывет ставшая тоже огромной утопленница Офелия, а по берегам в лучах заходящего солнца — лязг и скрежет заводов. Земля видна вся. В его стихах, как на полотнах Петрова-Водкина, заметно, что она круглая.

В тонких книжках его стихов — прижизненном сборнике «Вечный день» (1911), в подготовленном им самим к печати сборнике «*Umbra vitae*» (1912) и стихах, опубликованных посмертно, — мир на грани между гибелью и спасением. Как отвечают эти стихи нашему теперешнему сознанию, как отзывается в них драма современного человечества!..

Н. ПАВЛОВА

Два слова от переводчика

Гейм писал очень точными словами, и они требовали очень точного перевода. Мало того: он умел писать так, что его слова ощущались как сказанные впервые, свободные от ассоциаций долгого стихотворного употребления. Чтобы передать это, мне пришлось отбросить в его стихах метр и рифму: переводить его ямбы не размером подлинника, а свободным стихом. Конечно, не совсем свободным: внимательный читатель уловит в нем ритм и даже угадает, за какими стихами в оригинале стоят обычные геймовские ровные пятистопники, а за какими — более сложные размеры. За границей такая практика перевода обычна, хотя у нас внове. Мне кажется, что, когда мы предлагаем читателю поэта как представителя такой-то школы, эпохи, культуры, тогда переводчик обязан передавать все внешние признаки, характерные для этой школы, эпохи, культуры, и, конечно, стиховые в первую очередь. Но когда мы хотим, чтобы читатель встретился с поэтом один на один, в его неповторимой индивидуальности — как здесь, — то мы вправе отбросить общее, чтобы вернее сохранить личное в поэте — образность и стиль. Конечно, это годится не для всякого автора: Верлена или трубадуров так переводить нельзя. Это экспериментальный перевод: когда-нибудь, надеюсь, он уступит место переводам Гейма, отлично сделанным размером подлинника.

Офелия. I

В волосах гнездятся речные крысы,
Руки в перстнях вытянулись по воде
Плавниками, несущими ее тело
Сквозь тенистый подводный первобытный лес.

Последнее солнце, проблуждавши в сумраке,
Глубоко закатилось в ее мозг, как в гроб.
Зачем умерла она? Почему одна она
В порослях водорослей спутавшейся реки?

Ветер повис в камышах. Как взмахом,
Он взметает стаю летучих мышей.
Темными крыльями над темными водами
Они вьются, влажные, как тяжкий дым,

Как ночная туча. Белесый угорь
Ей щекочет груди. Светляк на лбу
Мерцает, и листьями плачет ива
Над ней, над мукой, не знавшей слов.

Офелия. II

Желтое поле. Кровавым потом
Потный полдень. Ветер заснул.
Вот она плывет, умирающая птица,
Под белым кровом лебяжьих крыл.

Мягко опали голубые веки.
И под сверканье звенящих кос
Снится ей поцелуй, как пурпур,
Вечный сон в ее вечном гробу.

Мимо, мимо! Туда, где над берегом
Гудящий город. Где в плотинный створ
Белый бьет бурун, и на все четыре
Стороны стонет эхо. Туда,

Где гул по улицам. Колокольный звон.
Машинный скрежет. Стрельба. Туда,
Где запад грозится слепым и красным
Кругом, где вычерчен подъемный кран.

Подъемный кран, чернолобый тиран,
Молох над павшими ниц рабами,
Тягота мостов, которые для него
Коваными цепями сковали реку.

Незримо уносит ее поток,
И где ее мчит, взметаются толпы
Большими крыльями черной тоски,
Тенью ширящейся с берега на берег.

Мимо, мимо! Где в жертву мраку
Лето приносит поздний закат,
Где усталая истома дальнего вечера
Темной зеленью легла на луга,

Поток ее мчит, навек погруженную,
По стылым заводям встречных зим
Вниз по течению времени, в вечность,
Где дышит дымом огненный небосвод.

Арестанты. II

По дороге, по рыхвинам, дробный шаг —
Колонна арестантов марш-марш домой.
Через мерзлое поле, в огромный гроб,
Как бойня, углами в серую муть.

Ветер свищет. Буря поет.
Они гонят кучку жухлой листвы.
Стражи позади. У пояса — звяз —
Железные ключи на железном кольце.

Широкие ворота разеваются до небес
И опять смыкаются. Ржавчина дня
Изъедает запад. В мутной синеве
Дрожит звезда — колотит мороз.

У дороги два дерева в полумгле,
Скрюченные и вздутые два ствола.
И на лбу у калеки, черный и кривой,
Крепчает рог и тянется ввысь.

Спящий в лесу

Он спит с утра. Солнце сквозь тучи
Красным тронуло красную рану.
Капает роса. Весь лес — как мертвый.
Птичка на ветке вскрикивает во сне.

Покойник спит, забывшись, забытый,
Овеяны лесом. Черви, вгрызаясь
В щели его черепа, поют свою песню,
И она ему снится звенящей музыкой.

Как это сладко — спать, отстрадавши
Сон, распасться на свет и прах,
Больше не быть, от всего отсечься,
Уплыть, как вздох ночной тишины,

В царство спящих. В преисподнее братство
Мертвых. В высокие их дворцы,
Где палаты сменяют одна другую,
В их застолья, в их праздники без конца,

Где темное пламя встаёт в светильниках,
Где звонким золотом — струны лир,
А в высоких окнах — морские волны
И зеленеющие луга, выцветающие в даль.

Он улыбается из пустого черепа,
Он спит, как бог, осиленный сладким сном.
Черви набухают в открытых ранах
И, сытые, ташатся через красный лоб.

Расщелина сходит ко дну оврага.
Он спит на цветах. И устало клонит
Рану, как чашу, полную крови,
Льющей темнобархатно-розовый свет.

Дерево

Возле канавы у края луга
Стоит дуб, исковерканный и старый,
В дуплах от молний, изгрызен бурей,
Черный терн и крапива у корней.

Душным вечером собирается гроза —
Он высится, синий, неколеблемый ветром.
Праздные молнии, бесшумно вспыхивая
В небе, сплетают ему венец.

Ласточки стаями мчатся понизу,
А поверху сброд летучих мышей
Кружится над голым, выжженным молнией,
Суком, отросшим, как виселичный глаголь.

О чем ты думаешь, дуб, в вечерний
Час грозы? О том, как жнецы,
Отложив серпы, отдыхают в полдень
В тени, и по кругу ходит бутыль?

Или о том, как они когда-то
Человека повесили на твоем суку —
Стиснулась удавка, вывихнулись ноги,
И синий язык торчал изо рта?

И висел он лето и зиму,
В переплясе на ледяном ветру,
Словно ржавый колокольный язык,
Ударяясь в оловянное небо.

*Луи Капет*¹

Стук барабанов вокруг эшафота.
Эшафот крыт черным, как гроб.
На нем машина. Доски разомкнуты,
Чтобы вдвинуть шею. Вверху — острие.

Все крыши в зеваках. Красные флаги.
Выкрикивают цены за места у окон.
Зима, но люди в поту.
Ждут и ворчат, стискиваясь теснее.

Издали шум. Все ближе. Толпа ревет.
С повозки сходит Капет, забросанный
Грязью, с растрепанной головой.

Его подтаскивают. Его вытягивают.
Голова в отверстии. Просвистела сталь,
И шея из доски отплевывается кровью.

¹ Имя, под которым был судим и казнен в 1793 году французский король Людовик XVI.

Зима

Зима врастяжку. По ровной глади
Голубые снега. На дорогах стрелки
Вытянулись, показывая друг другу вслед
Лиловое безмолвие горизонта.

Четыре дороги, все — в пустоту,
Скrestились. Кусты — как стынувшие нищие.
Красная рябина блестит печально,
Как птичий глаз. Четыре дороги

Застыли на миг пошептать ветвями
И вновь вперед, в четыре одиночества,
На север и юг, на восток и запад,
Где небо к земле придавило день.

Земля из-под жатвы горбом, как короб
С треснувшей плетенкой. Белою бородой
Она щетинится, как солдат после боя —
Сторож над мертвыми после жаркого дня.

Снег бледнее и день короче.
Солнце дышит с низких небес
Дымом, которому навстречу талый
Лед горит, как красный огонь.

Вечер

День потонул в червонном багрянце.
Река бела небывалой гладью.
Движется парус. У руля, как вырезанный,
Лодочник высится над большой кормой.

На всех островах в прозрачное небо
Вскинулся красный осенний лес,
И шелест веток из темных омутов
Отзывается дрожью кифарных струн.

Сумрак, сумрак разливается вширь,
Как синее вино из опрокинутой чаши.
А поодаль стояла окутанная в черное,
На высоких котурнах большая ночь.

Крестный ход

Бескрайний край, где лето и ветер,
И ветру вверились светлые облака,
Где зреет золотом желтое жито
И связанные в снопы высыхают рожь.

Земля туманится и дрожит
В запахах зеленых ветров и красных
Маков, которые уронили головы
И ярко горят от копны к копне.

Проселок выгнулся в полукруглый мост
Над свежей волной и белыми каменьями
И длинными водорослями в длинных
Струях под солнцем, играющим в воде.

Над мостом возносится первая хоругвь,
Пылая пурпуром и золотом. Оба
Конца ее с кистями справа и слева
Держат причетники в выцветших стихарях.

Слышится пение. Младший клир
С непокрытыми головами шествует
Впереди прелатов. Старинные, благолепные
Звуки над нивами разносятся вдаль.

В белых одежках, в маленьких веночках
Маленькие певчие истово поют;
И взмахивают кадилами мальчики
В красных сутанах и праздничных шлыках.

Алтарные движутся изваяния,
Мариинны раны сияют в лучах,
И близится Христос с деревянным желтым
Лицом под сенью пестроцветных венков.

Под навесом от солнца блещет епископская
Митра. Он шагает с пением на устах,
И вторящие голоса диаконов
Возносятся в небо и разносятся по полям.

Ковчежцы сверкают вокруг старых мантий.
Дымят кадила тлением трав.
Тянутся шествие в пышности полей.
Золото одежд выцветает в прожель.

Шествие все дальше. Пение все тише.
Узенькая вереница втягивается в лес,
И он, зеленый, блещущую глотает
Темными тропами златодремлющей тишины.

Полдень настает. Засыпают дали.
Ласточки полосуют глубокий воздух.
И вечная мельница у края неба
Тянется крыльями в белые облака.

Госпиталь. II

Опускается мрачный вечер. Тупо
Они вкорчиваются в подушки. С реки
Наползает холодный туман. Бесчувственно
Они внемлют молитвословиям мук.

Медленная, желтая, многоногая
Наползает в их постели горячка.
И они в нее глядят, онемелые,
И в зрачках их — выцветшая тоска.

Солнце тужится на пороге ночи.
Пышет жар. Они раздувают ноздри.
Их палит огонь,
Красный круг взбухает, как пузырь.

Там, над ними, Некий на стульчаке
Ими правит жезлом железным,
А под ними роют в жаркой грязи
Черные негры белую могилу.

Меж постелей идут похоронщики,
Выдирая рывком за трупом труп.
Кто не взят, тот вопит, уткнувшись в стену,
Воплем страха, прощанием мертвцев.

Комары зудят. Воздух плавится.
Горло пухнет в багровый зоб.
Рвется зоб, льется огненная лава,
Голова гудит, как каленый шар.

Они рвут с себя липкие рубахи,
Пропотелые одеяла — прочь,
Голые до пупа,
Качаются они маятником бреда.

Смерть струится во всю ночную ширь
В темный ил и слизь морских топей.
Они слушают, замирая, как гремит
Ее посох у больничных порогов.

Вот к постели несут причастие.
Поп больному мажет маслом лоб и рот.
Выжженная глотка мучительно
Вталкивает просфору в пищевод.

Остальные вслушиваются,
Словно жабы в красных пятнах огня.
Их постели — как большой город,
Крытый тайной черных небес.

Поп поет. В ответ ему каркает
Их молитв жуткий пересмех.
Их тела трясутся от гогота,
Руки держатся за вздутый живот.

Поп склоняет колени у кровати,
Он по плечи ныряет в требник.
А больной привстает. В его руках
Острый камень. Рука его в размахе,

Выше, выше. И вот уже дыра
Вспыхивает в черепе. Священник — навзничь.
Крик
Замерзает в зубах навстречу смерти.

*Umbra vitae*²

Люди высыпали на улицы,
Люди смотрят на небесные знаменья:
Там кометы с огненными клювами
И грозящие зубчатые башни.

Крыши усеяны звездочетами,
Их подзорные трубы вперились в небо.
Из чердачных дыр торчат колдуны,
В темноте заклиная свое светило.

Из ворот, закутавшись в черное,
Выползают хворобы и уродства.
На носилках тащат корчь и жалобы немощных,
А вслед, торопясь, гремят гробы.

Ночью толпы самоубийц
Рыщут, ищут свою былую силу
И, склоняясь на все четыре стороны,
Разметают пыль руками, как метлами.

² Тень жизни (лат.)

Они сами — точно пыль на ветру.
Волосы устилают им дорогу.
Они скачут, чтоб скорей умереть,
И ложатся в землю мертвыми головами.

Некоторые еще корчатся. И зверье,
Слепое, вставши вокруг, втыкает
Рог им в брюхо. И мертвые вытягиваются,
А над ними — чертополох и шалфей.

Вымер год. Опустел от ветра.
Он повис, как намокший плащ,
И со стоном вечная непогода
Кружит тучи из глуби в глубь.

Все моря застыли. В волнах
Корабли повисли и медленно
Выгнивают. Течение не течет,
И врата семи небес на запоре.

Для деревьев нет ни зим и ни лет.
Им конец, и конец навеки.
Они тянутся иссохшими пальцами
Поперек забытых дорог.

Умирающий силится воспрянуть.
Вот он вымолвил единое слово,
А его уже нет. Где жизнь?
Его взгляд — как разбитое стекло.

Тени, тени. Смутные, потаенные.
Сновидения у глухих дверей.
Кто проснется страдать под новым утром,
Долго будет стряхивать тяжкий сон с серых век.

* * *

Плавучими кораблями
нас уносило вдаль.
Зимним блеском
полосовало нас.
В море меж островами
мы пускались в пляс.
Поток проносился мимо.
В небе была пустота.

Есть ли на свете город,
где я не стоял у ворот?
Ты ли там проходила,
чью берегу я прядь?
Сквозь умирающий вечер
светил мой ищущий свет,
Но только чужие лица
всплывали в его луче.

Я выкликал покойников
из отреченных мест.
Но и меж погребенных
не было мне тебя.
Шел я через поле,
деревья стояли в ряд,
Качая голые сучья
в стынущих небесах.

Я рассыпал гонцами
воронов и ворон,
Они разлетались в сумрак
над тянувшейся землей,
А возвращаясь, падали,
как камень, с карканьем в ночь,
Держа в железных клювах
соломенные венки.

Изредка слышен голос
в веянье ветерка,
Изредка ночью сон мой
лелеет твоя рука.
Все, что было когда-то, —
вновь у меня в глазах.
Но веется черный траур,
но сеется белый прах.

Помешанные. III

Королевство. Области красных полей.
Цепи, плети, охранники.
Здесь шуршим мы в крапиве, в репьях, в терновнике
Пред пугающим вызовом диких небес,

Пред гигантскими красными иероглифами,
Огненными зубьями целящимися в нас, —
И синяя отрава по сети жил
Судорожно вкрадывается в наши головы.

Наш неистов вакхантский пляс,
И что ноги наши в тысячах терний,
И что давят они крошечных червячков, —
Мы лишь издали слышим в собственных жалобах.

Наши легкие ноги — из стекла,
Наши плечи — под багряными крыльями,
А когда стекло разобьется вдребезги,
Мы плывем над его звонкими осколками.

О, божественные игры! Море огня.
Небо в пламени. Мы — одинокие
Полубоги. И наши волосатые
Ноги попирают камни руин.

Забвенный край, утонувший в мусоре,
Где лишь царским лбом качается дрок,
Нас хватая за ноги золотой рукой
И блудливо вползая под наши мантии.

Квакает жаба. Синий удод
Блеет, как увязшая в болоте коза.
Отчего такие узкие ваши лбы
И хохлы ваши встали дурацким дыбом?

Вы цари, по-вашему? Вы только псы,
Даль ночную запугивающие лаем.
Отчего вы бежите? А бедные трепещут
И летят, как гуси из-под ножа.

Я один в краю глухой непогоды,
Я, с креста глядевший на Иерусалим,
Бывший Иисус, а теперь в углу
Гложущий пыльную подобранный горбушку.

Город

Ночь широка. Сияние облаков
Разорвано лунным западом.
Тысячи окон вытянулись во тьму,
Мигая крошечными красными веками.

Улицы, как жилы, пронизали город.
Наплывет и уплывает несчетный люд.
Монотонно гудят из блеклого затишья
Тупые звуки тупого бытия.

Рождение, смерть, насильное однообразие,
Шелест ветра, долгий предсмертный крик —
Тупо, слепо, мимо и мимо —

И блеск, и пламя, и факелы, и пожар,
Издали вскинувшие грозную длань
Высоко над облачной пеленою.

Ночь

Все огни умирали в небе, за пламенем пламя.
Все венки облетали. Утопая в крови, из бездны
Ужас зиял. И как из-за врат преисподней,
Издали вновь и вновь долетали темные зовы.

Сверху еще склонялся из галереи факел,
Двигаясь в хоре. И гас, свисая, как чертовы волосы,
Красный и дымный. А снаружи деревья в буре
Вырастали ввысь и тряслись от кроны до корня.

А в облаках проносились, распевая дикие песни,
Белые старцы бури, и в страхе исполинские птицы
Падали с неба, как корабли с сырьими
Парусами, тяжко свисающими над валами.

Молнии разорвали диким и красным взором
Ночь, чтобы осветить простор бесконечных залов,
Где в зеркалах стояли яркие лики мертвых,
С угрозою к небесам тянувших черные руки.

Побудь со мною. Пусть наши сердца не дрогнут,
Когда во мрак неслышно раскроются двери
И придет тишина. И в ее железном дыханье
Наши жилы застынут и наши иссохнут души.

Зима

Печные трубы завывают выюгой.
Ночные сумраки темнеют кровью.
У всех домов вытягиваются лица.

Мы здесь живем в обстроенных теснотах,
В могильной полутьме и полусвете,
И как канат, сучим пустое время.

День — он теснится в этажи пониже,
Где жаркое в печах бушует пламя.
А мы стоим у перемерзших окон
И смотрим поперек пустых дворов.

Слепые женщины

Слепые шествуют за поводыршами —
Черные исполинши, глянчные молохи
Над плечами тянувших рабынь — запевая
Долгую протяжную песнь слепых.

Твердым шагом вступает их хор
В железный лед обступающего неба.
Ветер клубит над широкими их макушками
Пепельные пожары седых волос.

Исполинские посохи их прощупывают
Улицу до самого взгорбья. Огромные
Гробы лбов их запечатаны огненной
Пентаграммой черного божества.

Вечер вывешивает огненную бочку
На сучья тополя в самый горизонт.
И руки незрячих тычутся в солнце
По веселому небу, как черные кресты.

* * *

Нас зазывали эти дворы,
Худыми руками хватали за полы наши души,
И мы скользнули сквозь ночные ворота
В заколдованные времена мертвых садов.

Свинцовый дождь струился из труб,
Мутные вытягивались облака.
Над застывающими прудами
Сохлые от страсти свисали розы.

Мы шли по узким осенним тропам,
О наши лица разбивались стеклянные
Шары. Их держали на острых пальцах встречные,
И боль была, как вспышки огня.

И так мы таяли в стеклянных пространствах,
Со стоном прорезываясь сквозь тонкое стекло,
И навеки сидим в белесых облаках,
Грезя, как в закате порхают бабочки.

Адская вечеря. II

В высиях, где тени сгустились в тьму,
В тысяче вечностей над бездной мук,
Над бушеваньем ливней является
Бледное, как утро, божье лицо.

Дальние церкви наполняет сон
Сфер, безмерный, как лепет арф,
Когда, как месяц с большого небосвода,
Белое наклоняется божье чело.

Приблизьтесь. Рот его — сладкий плод,
Кровь его — тяжкое медленное вино,
На его губах в темно-красной заводи
Зыбок синий жар полдневных морей.

Приблизьтесь. Нежен, как бабочкина пыльца,
Как юной звезды золотая ночь,
Мерцает рот в бороде златобородого,
Как в темном раскопе мерцает хризолит.

Приблизьтесь. Он прохладней змеиной кожи,
Мягче пурпурных царских риз,
Нежнее заката, который обесцвечивает
Дикую боль огненной любви.

Скорбь павшего ангела — словно сон
На лбу его, белом троне мучений,
Грустном грустью просыпающегося утром
О виденьях, канувших в бледный рассвет.

Глубже, чем тысяча пустых небес,
Его горечь, прекрасная, точно ад,
Чью пылающую бездну пронизывает
Бледный луч с полуденной вышины.

Его боль — как ночной двусвечник:
Взгляните: пламя облегло ему голову
И двумя рогами в дремучей роскоши
Из кудрей его вонзается в тьму.

Его боль — как ковер, по которому
Письмена каббалистов горят сквозь ночь,
И как остров, минуемый плавателями
В час, когда в дебрях кричит единорог.

Его тело — в нем тень и сень дубрав,
Взлет печальных птиц над большими заводями;
Это царь, в горностаях, задумчивый,
Тихо шествует сквозь склеп своих предков.

Приблизьтесь. Загоритесь его скорбями,
Впейте вздох его, холодный, как лед,
Вздох, принесшийся из-за тысяч эдемов
Ароматом, впитавшим любое горе.

Вот он смотрит, он улыбается, —
И душа в вас тиха, как пруд в камыше,
Тихо наполняемая пеньем Пановой
Флейты, льющимся из лавровых рощ.

Усните. Ночь, сгущаясь в соборе,
Угашает огни на высоком алтаре,
И огромный орел его безмолвия
Зыблет тень своих крыл на ваших лбах.

Спите, спите. Темный божеский рот
Вас коснется осеннею ли, могильною ли
Свежестью, и мнимый расцветет поцелуй,
Желт, как гиацинт, ядовит, как мучница.

Посвящается Хильдегарде К.

Длинные твои ресницы,
Глаз твоих темные воды,
Дай мне нырнуть,
Дай утонуть.

Горняк спускается в шахту,
Мигает тусклая лампа
Тенями на стене
У рудных врат.

Так спускаюсь и я
Позабыть на лоне твоем
Все, что гудит в высях —
Свет, боль, день.

Посреди широкого поля,
Где ветер пьянеет рожью, —
Высокий больной терновник
Упирается в синеву.

Дай мне руку,
Врастем друг в друга,
Добыча одного ветра,
Взлет одиноких птиц.

Вслушаемся в летний
Смутный гул органной грозы,
Окунемся в осенний
Свет на береге синего дня.

Или встанем
Над колодезем темным —
Глубже заглянуть в тишину,
Нашу найти любовь.

Или выйдем
Из-под тени золотой рощи,
И большой закат
Мягко ляжет тебе на лоб.

Божья печаль,
Молчи о вечной любви.
Опрокинь бокал —
Сон до дна.

Чтобы встать у края земли,
Где море в золотых пятнах
Тихо вкатывается
В заводи сентября.

Чтобы найти покой
В обиталище иссохших цветов.
Через скалы вниз
Поет и трепещет ветер.

Только с тополя,
Вскинутого в вечную синь,
Уже падает порыжелый лист,
Замирая у тебя на затылке.

Об авторах

ГЕОРГ ГЕЙМ (GEORG HEYM; 1887—1912) — немецкий поэт. Его перу принадлежат сборники стихов «Вечный день» (*“Der Ewige Tag”*, 1911), «Umbra vitae» (1912), «Трагедия небес» (*“Der Himmel Trauerspiel”*, 1922; посмертно). Г. Гейм писал также трагедии — «Атланта» (*“Atalanta”*, 1911) и прозу — сборник новелл «Вор» (*“Der Dieb”*, 1913).

Публикуемая подборка включает стихи из сборников «Вечный день» и «Umbra vitae».

ГАСПАРОВ Михаил Львович (род. в 1935 г.) — доктор филологических наук, переводчик. Автор нескольких книг и многих статей по античной литературе, стихосложению и поэтике. Переводил Пиндара, Овидия, Горация, Светония, басни Эзопа, поэзию вагантов и др.